

1992к
746

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

(Исторический процесс
в творческом сознании
русских писателей XVIII—XX вв.)

Ответственный редактор
Ю. В. СТЕННИК



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1992

Рецензенты:

Б. Ф. ЕГОРОВ, Ю. М. ПРОЗОРОВ



Л 4603010000-505
042(02)-92 603-91 (II)

ISBN 5-02-028054-2

© Издательство «Наука», 1992

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник является первым в ряду предполагаемых трудов, посвященных проблеме, обозначенной в его названии.

Так же как литература постоянно обращена к истории и не существует вне ее, так и история, будучи связана с литературой многообразными прямыми и опосредованными узами, обязана ей своей нетленностью. Это хорошо понимали наши предки, мыслители прошлого. «Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общеноядного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев... *...*» Последовавшие поздние потомки, великою древностию и расстоянием мест отделенные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их современные одноземцы.¹ Так писал М. В. Ломоносов в 1756 г. в своем знаменитом «Предисловии о пользе книг церковных в русском языке» о значении писателей в истории народов. В этом смысле литература может рассматриваться как своеобразная память истории, в то время как последняя вот уже в течение многих веков служит неисчерпаемым источником ее содержания.

Но этим характер связей между литературой и историей не исчерпывается. Литература выступает не только хранителем исторической памяти, но и единственным фактором пробуждения и функционирования общественного самосознания. Как формируется историческое самосознание общества и какое место в этом процессе занимает литература — вот узловые проблемы, разработка которых объединила участников публикуемого сборника и в решение которых они стремились внести свой посильный вклад.

Есть прямая связь между степенью духовной активности общества (нации, государства) и уровнем его исторического самосознания, которое всегда идеологически заряжено и структурно закреплено в результатах духовной деятельности, будь это искусство или различные формы идеологических институтов, как, например, право, филосо-

¹ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 592.

²⁸ Пожалуй, впервые Блок заговорил здесь о действительных предпосыпках своих историософских построений. В то же самое время он пишет в дневнике о том, что, собирая «мифологические» материалы, давно хочет «положить основание мистической философии» своего духа (7, 48). «Миф есть, в сущности своей, — поясняет Блок, — мечта о странном — мечта вселенская и мечта личная, так сказать — менее и более субъективная...» (7, 48). Значение мифологии, по Блоку, состоит в том, что «она повествует о тайном сочетании здешнего и нездешнего, земного и небесного...» (7, 49).

²⁹ В письме к отцу от 5 августа 1902 г. Блок, в частности, отметил, что его известного рода «разочарованность» выражалась в желании «съективничать», «покидая чрезмерную сказочность (...) недавнего мистицизма» (Письма к родным. Т. 1. С. 76).

³⁰ Мотив ожиданий — один из основных в цикле «Распутиня», ср.:
Я надел разноцветные перья,
Закалил мои крылья — и жду.
Надо мной, подо мной — недоверье,
Расплывается сумрак — я жду.

(1902; 1, 242).

³¹ Александр Блок и Андрей Белый: Переписка. М., 1940. С. 5. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

³² Белый А. Воспоминания... С. 20.

³³ Там же. С. 20.

³⁴ Весной 1903 г. Блок пишет отцу о том, что он чувствует «переход от мистической запутанности к мистической

ясности» (Письма к родным. Т. 1. С. 84).
³⁵ Ср. о народе и обществе в письме Блока к Андрею Белому: «Они спят, Вы знаете сами (...) Ей богу, если они проснутся, у них только расстроятся желудки (...) Не чувствую участия народа и общества в Ее благодати» (Блок и Белый. С. 43, 44).

³⁶ Андрей Белый так охарактеризовал в своих воспоминаниях преобладающее настроение той поры: «Казалось: проблема мистерии и гармонизации человеческих отношений уже подошла и вот-вот прямо в руки дается... Неудивительно, что на заре „символизма“, на заре нашей культурной жизни, нам казалось, что уйти всем вместе из старого мира и легко и просто, потому что Новый Мир идет навстречу к нам». (Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. С. 56).

³⁷ Этот образ гибели земли в сущности сходен с тем, что возникает в раннем стихотворении «Увижу я, как будет погибать...» (1900), о котором говорилось выше.

³⁸ Белый А. Воспоминания... С. 24—25.

³⁹ Ср.: «Время для Блока всегда процесс, настоящее есть условная точка пересечения прошлого и будущего. Настоящее как время не существует, оно или завершение „старого“, или начало „нового“» (Долгополов Л. К. Александр Блок. Личность и творчество. Изд. 2-е. Л., 1980. С. 11).

⁴⁰ Вторую часть данной работы см. в следующем выпуске сб. «Литература и история».

А. М. Грачева

СУДЬБА РОССИИ В ЛИТЕРАТУРЕ 1910-Х ГГ.

(Повесть А. Ремизова «Пятая язва»)

В 1911 г. в период работы над повестью «Жизнь Матвея Кожемякина», М. Горький писал А. Н. Тихонову: «Читаю, скорбя, русскую историю!¹ И спрашивал его: «Нет ли у Вас знакомого молодого историка (...) Если есть, захватите его с собой на предмет бесед о необходимости написать „Историю рус[ского] народа“ как такого. Достану средства для работы и на издание книги. Дело — священное. (...) И вообще — необходимое для народа, который должен, наконец, узнать, каково его прошлое и почему он таков, каков ныне есть». О глубине причин социальных потрясений в России начала века размышлял и И. Бунин в повести «Деревня». Знаменательно, что писатель предпослав сборнику стихов и рассказов «Иоанн Рыдаец» (1913) общий эпиграф — слова И. Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь...»

Первая русская революция всколыхнула всю Россию. Осмысление ее причин и последствий стало в 1910-е гг. важнейшей задачей литераторов. Они искали ответы на вопросы, способен ли русский народ быть деятелем исторического процесса, в чем особенности национального характера, каково в нем соотношение векового, «природного» и социально обусловленного, исторически изменчивого. Многие из писателей находили истоки событий начала XX в. в явлениях и мировоззренческих представлениях, складывавшихся подчас в очень отдаленные времена формирования русского государства, постоянной борьбы с внешними завоевателями, внутренних феодальных усобиц, в периоды татарского ига, социальных потрясений начала XVII в. и петровских преобразований. Именно в начале 1910-х гг. появились такие значительные произведения о судьбе России, рассматриваемой в исторической перспективе, как «Городок Окуров» (1909) и «Жизнь Матвея Кожемякина» (1911) М. Горького, «Деревня» (1912) И. Бунина. В один ряд с ними можно поставить

и повесть А. Ремизова «Пятая язва» (1912).³ При этом ни у одного из писателей начала XX в. древнерусская история и, шире, древнерусская культура не вошла так своеобразно и органично в художественное сознание автора, как у А. Ремизова.

Интерес к русским древностям возник у Ремизова — коренного москвича — с детства. Писатель испытал сильнейшее эстетическое воздействие древнерусской архитектуры (ею так богата Москва); музыки (он пел в церковном хоре); литературы (мальчиком он увлекался занимательными историями о жизни святых и мучеников в Четырех-Минеях). «И далеко, еще в раннем детстве, — вспоминал Ремизов, — слышал я имена Погодина и Забелина, произносимые с особенным почитанием. А потом слушал я лекции самого Василия Осиповича Ключевского».⁴ Конец 1900-х гг. — время освоения Ремизовым древнерусской литературы. Начав знакомство с миром древней рукописной книжности под влиянием своего друга — филолога П. Е. Щеголева, с которым он познакомился еще в период своей ссылки в Вологду, и под воздействием ученых занятий своей жены С. П. Ремизовой-Довгелло — специалиста по славянской палеографии, Ремизов затем дружески сблизился с учеными-медиевистами И. А. Рязановским, А. И. Яцимирским, И. А. Шляпкиным, В. Г. Гейманом и др. Он научился как читать рукописи, так и писать, подражая разным типам древнего письма.

Ремизов не только «начитывал» древнерусские тексты, но и начал их перерабатывать, создавать свои «последние редакции» старых произведений. Для него развитие русской культуры являлось непрерывным процессом накопления духовных ценностей. С течением времени могли происходить утраты, частичное или полное забвение каких-то культурных пластов, но даже в эти периоды они продолжали подспудно воздействовать на народное мироощущение. Самого себя Ремизов воспринимал как носителя коллективного народного сознания, писателя, синтезирующего в своем творчестве различные срезы единой русской культуры, развивавшейся от фольклора до современной индивидуально-авторской литературы как единое целое. В поздних воспоминаниях Ремизов связывал начало своего увлечения древностью именно с моментом пробуждения в своем сознании ощущения целостности культуры, называя это чувство «откликом» из «зачарованного» (т. е. ранее представлявшегося оторванным, ушедшим) мира: «И тот же смутный непреклонный голос — оклик — направил мое внимание на „отреченную“ литературу. Изучение Тихонравова, Пыпина, Беселовского, Порфириева, В. П. Мочульского (...) вырвало на свет и оживило мою древнюю память: в моих „реконструкциях“ старинных легенд и сказаний не только книжное, а и мое — из жизни — виденное, слышанное и испытанное. И когда я сидел над старинными памятниками и, конечно, неспроста выбирал из прочитанного, а по каким-то бессознательным воспоминаниям — «узлам и закрутам» моей извечной памяти».⁵

Сначала Ремизов обратился к переработкам древнерусских апокрифов — «отреченной» литературы, в которой он видел народ-

ное осмысление религиозных, мировоззренческих, бытийных вопросов, ощущал живое биение не скованной догмами, и потому отвергнутой мысли. Первым итогом художественного переосмыслиния апокрифов был сборник «Лимонарь» (1907). Экземпляры второго издания «Отреченных книг»⁶ Ремизов разослав видным специалистам-древникам М. Н. Сперанскому, А. А. Шахматову, И. А. Шляпкину, А. И. Яцимирскому. Все они отметили бережное отношение автора к источникам, хотя подчас не были согласны с их переосмыслением. И в то же время многие увидели в произведениях Ремизова талантливое продолжение литературной традиции. Так, А. А. Шахматов выразил писателю «искреннюю благодарность за присылку VI и VII том [ов] Ваших сочинений».⁷ Прошу Вас принять уверение в совершенном уважении и преданности».⁸ А известный славист М. Н. Сперанский писал Ремизову 6 марта 1912 г.: «От души благодарю Вас за память обо мне: две Ваши книжки⁹ вчера получил через М. О. Гершензона. Буду читать, саковать и постараюсь учинить „суд праведный“, насколько смогу».¹⁰

Высокая оценка ремизовских обработок древнерусских текстов специалистами и литературной критикой тем не менее не способствовала их публикации. В письмах Ремизова 1910-х гг. неоднократно звучат жалобы на нежелание редакторов помещать в своих изданиях произведения, якобы уводящие читателя в мир легенд и грез, далекий от насущных потребностей времени. «А с моими апокрифическими произведениями беда: — писал Ремизов Щеголеву 13 марта 1911 г., — лежат две вещи О рождестве — отреченная повесть и Попранье клятвы Адамовой. Никто знать ничего не хочет „отреченного“». Два года назад и то как-то принимали, а теперь нет».¹¹ Однако писатель не прекращал работы над созданием «новых редакций» древнерусских произведений. И вместе с тем древняя литература, ее сюжеты, герои, весь мир художественного сознания, запечатленный в жанровых структурах, системе идейно-эстетических категорий — все это стало составной частью его произведений о современности. Одним из наиболее ярких примеров такого влияния стала повесть «Пятая язва», в которой именно древнерусские тексты являются «ключом», позволяющим понять глубинную сущность этого произведения.

Фабула повести такова. В провинциальном городе Студенце живет следователь Бобров, ненавидимый жителями за неукоснительную правильность своей жизни и непреклонное исполнение своих обязанностей. Убежденный в собственной непогрешимости, он пишет некое сочинение — «обвинительный акт» не просто студенецким обывателям, но всему русскому народу, «грехи» которого Бобров рассматривает в исторической перспективе. Однако однажды сам следователь совершает судебную ошибку, жертвой которой становится невинный человек. С момента ее осознания в душе героя начинается ревизия прежних духовных ценностей. Финал повести — смерть Боброва от сердечного приступа.

Замысел повести возник у Ремизова в период работы над «петербургской» повестью «Крестовые сестры» (1910). В поздравительной

новогодней открытке своему другу И. А. Рязановскому от 24 декабря 1909 г. Ремизов писал о начале работы над новым произведением: «С Новым Годом! (...) Ждет: „обвинительный акт“».¹² Основной темой произведений Ремизова этих лет остается тема превратности и трагичности человеческой судьбы. В «Крестовых сестрах» писатель рассматривал судьбу «маленького человека» — чиновника Маракулина сквозь призму литературных аллюзий «петербургского» периода русской истории. В повести «Пятая язва» он стремился к большему художественному обобщению — осмыслению исторического пути России. Косвенное отражение изначального замысла писателя можно найти в письмах близкого в это время к Ремизову критика Р. И. Иванова-Разумника, с которым тот делился размышлениями о новом произведении. В письме от 1 ноября 1911 г. Иванов-Разумник спрашивал писателя: «Напишите о судебном следователе и „обвинительном акте России“. Подвигается? Приеду — прочтите».¹³ А 17 ноября он вновь обратился к этой теме, очевидно, получив письмо Ремизова с раздумьями над повестью: «О следователе не пишете, а все читаете — это хорошо; когда доспеет само „выпрет“ (как выражался тот же Гершензон об Алексее Толстом 2-ом). Хотелось бы, чтобы эта вещь вышла большой повестью, вроде „Сестер“; да вряд ли и выйдет меньше — материал слишком обширен. На „роман“ бы хватило. И можно действительно сделать большую вещь».¹⁴

В июле 1912 г. Ремизов продолжал работать над повестью, когда он гостил в имении А. А. Рачинской — селе Бобровка Тверской губернии. Его название, вероятно, отразилось в фамилии главного героя. В Бобровке Ремизов закончил и тут же стал переделывать текст повести. Мотивы неудовлетворенности написанным звучат в июльских письмах Ремизова А. Блоку. 22 июля Ремизов писал: «Сиднем сидел тут все дни: пишу следователя Боброва. Очень устал я. Кончил всю повесть, перечитал — две последние главы „Вождь жизни“ и „Один бреука“ никуда не годятся: не могу приняться переделывать. А надо, непременно надо».¹⁵ А в письме, датированном с 26 на 27 июля, он отметил, что «как раз сегодня принялся за исправление неудовлетворяющих (...) страниц».¹⁶

Окончательный этап работы над текстом был связан с поездкой Ремизова в Кострому к главному хранителю костромского Рязановского музея, археографу Ивану Александровичу Рязановскому. Писатель познакомился с Рязановским через М. М. Пришвина и долгие годы поддерживал с ним теснейшую дружескую связь. Ни с кем из своих знакомых медиевистов Ремизов так подробно и доверительно не обсуждал различные вопросы, связанные со своими занятиями древнерусской литературой, начиная от просьб списать те или иные рукописные источники, необходимые Ремизову для переработки, и кончая обсуждением лингвистических проблем древнерусского языка. В воспоминаниях Ремизов писал о необыкновенном человеческом обаянии Рязановского — неутомимого пропагандиста народной культуры, древней письменности, о влиянии бесед с ним на творчество художников Б. Кустодиева, С. Чехонина,

писателей М. Пришвина, Е. Замятин и, конечно, на формирование своего художественного мироощущения.¹⁷

Летняя поездка Ремизова была не просто дружеским посещением. Он вез с собой рукопись повести «Пятая язва» и ехал с творческой задачей, определенной в письме к Рязановскому от 1/14 июля 1912 г.: «Желания мои такие: хочется мне сейчас привести в порядок повесть о следователе и с рукописью, которую я мог бы прочитать, не спотыкаясь, к Вам в Кострому. У Вас посидеть и сделать всякие исправления и вставки. (...) Хочется мне еще, сидя у Вас, написать некую повесть от словес Иоанна Блудоборца „блаженного“ отче».¹⁸ Работая над повестью о России, Ремизов стремился к общению с человеком, наиболее близко знающим тот «русский лад», который был так необходим писателю для ее создания. В письме Рязановскому от 3/16 июля он замечал: «Числа 7^{го} хотел бы к Вам выехать в Кострому, боюсь, дома ли Вы? (...) Хочу в Костроме воздухом — духом русским подышать».¹⁹

Посещение Костромы было временем творческого труда.²⁰ Ремизов сообщал Блоку об итогах своей поездки в письме от 20 августа: «Насмотрелся я старины, надышался русской речью. Повесть мою еще раз переписал, теперь получше стала. Очень тяжко исправлять, когда голова зашла за голову, все написанное не удовлетворяет. (...) По вечерам Пролог читали (рукописный) времени ц(а)ря Василия Ивановича».²¹ В этот период окончательно сформировался внутренний контекст повести. Им стала древнерусская литература, в мир которой Ремизов целиком погрузился в доме Рязановского — увлеченного собирателя и популяризатора древних памятников. Писатель вспоминал: «За неделю среди книжных сокровищ я не то что выкупался, а прямо сказать, выварился в книгах. В эти незабываемые дни не могло быть и речи заснуть. Сам бессонный хозяин подымал меня ни свет ни заря, да и среди ночи, вдруг вспомнив о каком-нибудь замечательном первом издании или рукописной, мне очень полезной книге (...) За семь дней и семь ночей я узнал о книге в „себе самой“ и понял, что такое книжник в царстве своих книг. (...) я сам весь был в книге. Сохраняю мою костромскую память — „рязановскую“ (...) в „Пятой язве“».²²

На первый взгляд, гротескное описание жизни студенецких жителей и мытарств «заеденного средой» Боброва представляло собранием провинциальных анекдотов, написанных в стиле повестей Гоголя и «Дядюшкиного сна» Достоевского. Но постепенно изображение быта становилось видением бытия. Предметы и явления реальности превращались в художественные символы. Большинство рецензентов повести так и не поняли специфики художественного метода ее автора. В этом плане типичен отзыв критика Л. Мовича: «Непонятно и странно очень многое в повести (...): непонятна фабула, странны отступления, (...) необычна и странна вся манера письма (...) и все же (...) в сердце, в мозг проникает одна мысль и одно чувство: это вся Россия такова».²³ Дело в том, что произведение Ремизова на всех уровнях художественной структуры семантически многомерно. Сюжетная ситуация, образ героя, отдельное слово

текста могут стать символами, отсылающими к определенным идейно-эстетическим комплексам. При этом потенциальная возможность символического истолкования не исключает и реалистически-конкретного прочтения, непосредственного восприятия произведения «непроницательным» читателем. Текст не является эзотерически замкнутым. Но в то же время для автора повести огромное значение имело открытие этим читателем «второго» плана изображаемого — мира литературной традиции и прежде всего контекста древнерусской литературы. Вводя его в произведение, Ремизов как бы включал свою повесть в непрерывный ряд размышлений русских писателей (и древних книжников, и авторов нового времени — Гоголя и Достоевского) над судьбой России.

Повесть «Пятая язва» была написана в момент интенсивной работы Ремизова над обработками фольклорных и древнерусских источников, создана после известного обвинения писателя в пла-гиате.²⁴ Поэтому он прибегает к художественному приему, не раз уже применявшемуся им при публикации своих «реконструкций» старых текстов. Писатель дает скрытый «список использованной литературы», одновременно являющийся указанием на второй, аллюзионный план произведения. Ремизов называет круг чтения Боброва (прием, характерный для многих его произведений): «Издания Археографической комиссии, Русской исторической библиотеки, Общества любителей истории и древностей российских и всякие труды Академии наук главным образом» (С. 118). Опираясь на этот «список», можно реконструировать ряд источников, использованных Ремизовым при работе над повестью: I. «Памятники отеченной русской литературы». Собранны и изданы Николаем Тихонравовым. Т. 2. М., 1863; II. «Русская историческая библиотека». Т. 13. «Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени». II изд. СПб., 1909; III. «Полное собрание русских летописей». Т. 3—4. Новгородские летописи». СПб., 1841; IV. Карамзин Н. М. «История государства Российского». СПб., 1892. Т. 9.²⁵ Настоящее исследование не ставит своей целью изучение всех литературных источников повести, в которой, как уже упоминалось, есть также пласт литературных реминисценций из произведений Достоевского и Гоголя. Но именно древнерусская литература имеет первостепенное значение для формирования художественной структуры и идейной концепции повести.

Писатель воспринимал начало XX в. как время катаклизмов и потрясений в истории страны и в миросозерцании отдельного человека, сколь бы ни было его сознание «непросвещенным», полным архаических представлений и старых понятий. В повести «Пятая язва» повествование ведется в формах несобственно-прямой речи, от лица самих студенецких жителей, в том числе от лица одного из них — рассказчика этой истории. Авторский голос лишь изредка вплетается в голоса его героев. «Мне гораздо ближе лирическая форма (повествования. — А. Г.), — говорил Ремизов о своей писательской манере, — или форма более свободная, вне рамок. Не ро-

ман, скорее повесть от своего лица или от лица кого-нибудь другого».²⁶ В «Пятой язве» рассказчик трактует события ХХ в. в привычных его сознанию религиозных категориях, воспринимая современность в духе средневековых апокалиптических представлений о последних днях мира перед Страшным судом, видя в своих согражданах грешников и мучеников. Удалось установить, что двумя основными «источниками» повести стали два апокрифа: «Слово Мефодия Патарского о царствии язык последних времен» и «Хождение Богородицы по мукам».

Сопоставление дней нынешних с «последними временами», о которых идет речь в апокрифических произведениях, в том числе в «Слове Мефодия Патарского», является в повести Ремизова особым способом подчеркнуть значимость настоящего момента в истории России. Согласно средневековым представлениям, «последние времена» — это те, когда судьба народов окончательно определяется. Из того же произведения взято Ремизовым название повести. Рассказчик сообщает: «Четыре страшные язвы: пагуба, губительство, тля, запустение, а пятая язва студенецкая — бич и истребитель рода человеческого — следователь Бобров» (С. 120). В списке «Слова Мефодия Патарского» XIV в.: «пръди поидут же пръд ними на земля, язвы Ѱ [4. — А. Г.]: пагуба, губительство, тле и запустение» (I. С. 220). Пятой же «язвой», приходящей на землю непосредственно перед приходом Антихриста, автор «Слова Мефодия Патарского» считает разъединенность людей друг от друга. Именно в такой презрительной оппозиции к другим жителям Студенца находится следователь Бобров.

Полигенетично происхождение названия города, где живет герой, — Студенец. В Словаре Даля, которым любил пользоваться Ремизов, значение слова «студенец» — «колодец, колодезь, кудук, креница, копань, копанка, на холодной водяной жиле; ключ из земли, родник».²⁷ Писатель часто брал для своих произведений фамилии, прозвища, названия, уже существующие в действительности, но поражавшие современников необычайной языковой яркостью после их включения в художественный текст. «Ремизов обладал исключительной, пожалуй, даже феноменальной памятью. Он безошибочно помнил по имени и отчеству всех своих, даже случайных, знакомых. И к каждой фамилии он, как и вообще к слову, подлинно им любимому, относился всегда внимательно, бережно и с большим интересом. Он терпеливо просматривал в газетах длинные перечни лиц, желающих переменить фамилию, и наиболее интересные из них записывал».²⁸ Не исключено, что источником названия могла быть и географическая карта. Отметим, что в повести упоминается и находящийся по соседству город Лыков. В Нижегородской же губернии были село Лысково и деревня Студенец, в Калужской — деревни Студенец и Лыков-враг. Но более соответствует системе художественного мышления Ремизова заимствование названия «Студенец» из того же «Слова Мефодия Патарского». Когда мир дойдет до последней грани своего бытия, говорится в этом апокрифическом памятнике, то «облаки не дадут воду, земля отвергнется плодов своихъ,

море исполнится смрада, рыбы его изомрутъ, рѣки изсохнутъ, студенты оскудеютъ» (I. С. 265).

Другой источник повести, развитие которого будет показано далее, — апокриф «Хождение Богородицы по мукам». Ремизов неоднократно обращался к этому древнему памятнику,²⁹ видя в нем воплощение этической идеи, которой он придавал мирообразующий смысл, — идеи сострадания. Богородица посещает загробный мир, видит всевозможные мучения грешников и просит своего сына прости их, иначе она согласна остаться в аду и страдать вместе с ними. Первая глава повести «Пятая язва» построена по структурной схеме «Хождения Богородицы». Повествователь рассказывает о греховых делах жителей Студенца и постоянно противопоставляет им следователя Боброва, как ни к чему не причастного праведника. «Нет, кого другого, а уж следователя на том свете не погонят в задние мухи, не сидеть ему в озере огненном» (С. 115). «Бобров феномен. Еще бы! Стоит только подумать, что в загробном видении писано о то-светлом месте, где томятся блудники и прелюбодеи грешники, о блудном царстве, сколь необозримо оно, и нет его больше и обширнее, и нет его тверже и сильнее!» (С. 117). «Нет, и в реке огненной среди татей и разбойников, там не место следователю» (С. 117). В апокрифе бесконечным кругом грешников противопоставлена Богородица. По средневековым представлениям, она — существо высшего порядка, из сферы божественных сил, которым дано право судить людей. Бобров же принадлежит к «миру людей» и лишь на основании сознания своей «праведности» считает себя вправе судить и осуждать других. Герой Ремизова по профессии следователь, и он мнит себя непогрешимым исполнителем закона, на его основании распоряжающимся судьбами ближних. Уже в первой главе повести устами студенецких обывателей отмечено одно из основных качеств Боброва — его гордыня. Но в христианской этической системе «гордыня» — категория, имеющая отрицательную значимость. «Гордыня» — свойство, идущее не от бога, а от дьявола. Таким образом, антитеза героя-«праведника» и студенецких жителей — «грешников», на которой построено начало повести, уже не допускает однозначности нравственной оценки противостоящих сторон и также является первым свидетельством ущербности «головных» идей Боброва. В этом плане Ремизов является продолжателем традиций Достоевского, в частности в повести развиваются и преломляются идеи романа «Преступление и наказание». Однако в данной статье эти традиции предметом специального анализа не являются.

В «Хождении Богородицы по мукам» и в «Слове Мефодия Патарского» центральной является тема последнего, высшего Суда над конкретными людьми («грешниками») и над целыми народами Суда, который определит их дальнейшую судьбу. Возможно, именно поэтому Ремизов обратился к этим двум произведениям, задумав повесть о судьбе русского народа, размышления о котором включали в себя и оценку, «суд» его истории. Напомню, что первоначально он говорил о замысле произведения о «судье», чья фигура позднее

трансформировалась в образ судебного следователя Боброва. Вся повесть Ремизова — это цепь «судов», как внешних — обстоятельств службы Боброва, так и «судов» внутренних — судов совести героев.

Главное дело следователя Боброва — написание некоего судебного сочинения, которое повествователь определяет как «нечто вроде обвинительного акта и не лицу какому-нибудь известному, не студенецкому подсудимому, а всему русскому народу» (С. 146) Сочинение Боброва представляет собой публицистическое произведение, излагающее определенную концепцию русской истории и пронизанное скрытыми цитатами из древнерусских памятников. Его основной источник — публицистические и исторические произведения начала XVII в. — эпохи Смутного времени. Выбор Ремизова сознательен и закономерен. Действие повести «Пятая язва» относится ко времени после революции 1905 г. — социального катаклизма, потрясшего жизнь всей России. Но для изображения этого периода Ремизов обратился к памятникам XVII в. Оценивая события революции 1905 г., писатели и публицисты начала XX в. употребляли термин «Смута». В основном он применялся в реакционной литературе и публицистике 1910-х гг., вульгарно трактующих эпоху Смуты как время бессмысленного бунта черни.³⁰ Подход Ремизова к использованию этого исторического образа в произведении о современности был качественно новым. Он воспринимал Смуту как позитивное историческое явление, момент революционного перелома в судьбе России. Писателю была близка позиция известного исследователя Смуты С. Ф. Платонова, утверждавшего, «что Смута сделала почти всю нашу историю в XVII веке. (...) события смутной поры, необычайные по своей новизне для русских людей и тяжелые по своим последствиям, заставляли наших предков болеть не одними личными печалями и размышлять не об одном личном спасении и успокоении. Видя страдания и гибель всей земли, наблюдала быструю смену старых политических порядков под рукою и своих и чужих распорядителей, привыкая к самостоятельности местных миров и всей земли, лишенной руководства из центра государства, русский человек усвоил себе новые чувства и понятия: в обществе крепло чувство национального и религиозного единства, слагалось более отчетливое представление о государстве».³¹ Для Ремизова было важно, что в период Смуты совершился переворот в сфере общественной мысли, проснулось самосознание народа, для развития которого новым мощным толчком стала революция 1905 г.

Ремизов строит «сочинение» Боброва, виртуозно переплетая отдельные мотивы, скрытые цитаты, стилистические формулы древнерусских памятников. На основе тончайших контаминаций старых текстов появляется новое произведение, с актуальным содержанием, не являющееся простым стилизационным подражанием публицистике XVII в. В начале рассказа об «обвинительном акте» Боброва писатель опять сразу же указал литературные источники своего текста и одновременно отметил его основную идею: «И было похоже (сочинение Боброва. — А. Г.) на то, как когда-то в старину в смутные годы дьяк Иван Тимофеев в „Временнике“ своем, подводя

итог смуте, выносил свой приговор русскому народу, бес- словесно молчащему, а троицкий монах Авраамий Палицын судил русский народ за его безумное молчание» (С. 146). «Временник» дьяка Ивана Тимофеева и «Сказание» келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына являются публицистическими произведениями очевидцев Смуты, имеющих ярко выраженную личную позицию, желающих не только описать исторические события, но и понять их истоки. Обращение Ремизова именно к этим двум источникам и было обусловлено внутренним единством характера подхода обоих авторов к оценке явлений. «Оба они, — писал С. Ф. Платонов в труде о Смуте, возможно, известном Ремизову, — являются в своих произведениях публицистами, обсуждающими явления своего времени с одной точки зрения — моральной (...) подбор фактов, на которые направлены обличения Тимофеева, иногда поразительно сближается с обличительными мотивами Палицына».³² Для героя Ремизова, и в этом он идет за древнерусскими публицистами, первостепенный смысл имеет моральная оценка духовного состояния русского народа. В сочинениях обоих писателей развивается следующая идея о причинах Смуты: истоки разорения государства, страданий людей надо искать в нравственном несовершенстве, слабости самого народа. Он безмолвно смотрел на убийство царевича Дмитрия, на незаконное восшествие на царство Бориса Годунова, и итогом этого народного «недеяния» явилась Смута. Ремизов вводит в свой текст скрытые цитаты из обоих авторов. Так, Иван Тимофеев пишет о преступном молчании народа после убийства Дмитрия: «Но убо иже господомладенческое не-повиннь заколение и всеградное туне огнемъ потребление и не хотяще убо и подъяхомъ вси, яко ничю же знающемъ, безсловесны молчанием спокрывшеся» (II. Стб. 302). Текст Авраамия Палицына из раздела «О начале бѣды во всей Росии»: «И яко (...) за всего мира безумное молчание, еже о истиннь къ царю не смѣюще глаголати о неповинныхъ погибели (...) И преста всяко дѣло земли» (II. С. 479).

В своем сочинении Бобров анализирует «дѣяния» русского народа, именно они являются основой для оценки народного характера. Эта же тема была сквозной в написанном одновременно с повестью сборнике рассказов «Бисер малый». Знаменательно, что в обращении к этой теме Ремизов перекликается с М. Горьким, у которого тема «дѣяния» стала главной в центральных произведениях начала 1910-х гг. «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «По Руси». Но в разработке этой темы Ремизов внутренне полемизирует с Горьким.³³ Для последнего русский народ по исконной сути своей народ — «дѣятель», активно изменяющий свою судьбу. Деятельное начало национального характера было искажено тяжелыми обстоятельствами его исторической жизни. Герой же Ремизова (не надо отождествлять с ним самого писателя), так же как и Горький, ставящий в центр своей позитивной программы способность народа быть «дѣятелем», приходит на основании анализа фактов русской истории к глубоко пессимистическому выводу: «нестойкий,

друг с другом неладный, бредущий розно, разбродный и смолчливый, безгласный — вот русский народ» (С. 146). Единственное спасение, «узду» для народа Бобров видит в неуклонном соблюдении «закона», т. е. в государственности. Раскрытие подобной позиции героя обусловило обращение писателя к построениям ученых «историко-юридической школы», наиболее ярким представителем которой был С. М. Соловьев. С воззрениями этой исторической школы связана теория Боброва о том, что «законность, искони неведомая России, вот столп, которым укрепится земля» (С. 146). Для иллюстрации господства беззакония Бобров подбирает разные исторические факты, и здесь во всем блеске проявилось знание Ремизовым древнерусских источников и исследований историков. Текст повести основан, кроме использования работ Соловьева, Платонова, на внимательном прочтении и интерпретации «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Так, в сочинении Боброва главное место в исторической перспективе отведено временам Ивана Грозного. Трактовка его царствования опирается на оценку эпохи Грозного публицистами XVII в., в частности И. Тимофеевым, чья точка зрения легла в основу концепции Карамзина. Метод работы Ремизова с источниками и глубину освоения им материала наглядно демонстрирует описание эпизода разгрома Иваном Грозным Новгорода. Прокомментируем следующий текст повести Ремизова: «Когда новгородского владыку, ображенного шутом, по приказу царя возили по городу с бубенцами верхом на белой кобыле, когда всенародно поставленные на правеж до полутысячи монахов палицами забиты были на смерть, вот когда еще беззаконие ядом вошло в русскую кровь. И московский святитель, мученик, верный и твердый сын России, прав. Да, у татар есть правда, во одной России нет ее, во всем мире ты встретишь милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым!» (С. 148). Яркое описание расправы с новгородским архиепископом является пересказом отрывка из Истории Карамзина: «Еще судьба Архиепископа не решилась: его посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою, с бубном в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу» (IV. С. 96). Сведения об избиении монахов также имеются у Карамзина, но они лишены статистической конкретности. Точные данные о количестве убитых Ремизов нашел в погодной статье «Новгородской третьей летописи» за 1570 г.: «и игуменовъ и черныхъ священниковъ, и диаконовъ, и соборныхъ старцовъ, изо всѣхъ новгородскихъ монастырей, собираша (...) числомъ ихъ яко до пятисотъ старцовъ и болши, и всѣхъ ихъ поставиша на правежъ (...) и (...) избивати ихъ палицами на смерть» (III. С. 256—257). Наконец, финальные слова «московского святителя» (адресованная Грозному речь митрополита Филиппа) являются буквальным переводом с немецкого текста из Записок о московских делах — «Послания» служивших у Грозного иноземцев Иоганна Таубе и Элерта Крузе. Текст речи Филиппа приведен у Карамзина в примечании № 191 к IX т. Истории: «(...) die Tattern und Heyden haben Gesatz und Recht; allein in Reuschlandt ist es nicht; in aller Welt wirdt Barmhart-

zigkeit gefunden, und hie in Reuschlandt ist über die Unschuldigen und Gerechten kein Erbarmen» (IV. C. 37).

По своему жанру, композиции и стилю «сочинение» Боброва также продолжает традиции древнерусских памятников. В повести прямо называется жанр этого произведения: «Та боль, та душащая тоска собственной своей разоренности (...) вылились с годами в жесточайшие обличения — в плач над разоренностью земли русской о погибели русского народа» (С. 147). Это самоопределение своего сочинения Бобровым перекликается с названиями древнерусских произведений «Слово о погибели русской земли» (XIII в.), «Плач о пленинении и о конечном разорении Московского государства» (XVII в.) и др. У того же И. Тимофеева в изложение исторических событий вплетается «Плач изъ среды сердца глубокъ и рыданье горко отъ лица града святаго великаго к могущему спсти мя Богу на иже мучителски мною владущаго, неже благодергжавно» (II. Стб. 359). В жанре «плача», вобрившего в себя и традиции народной причети, и библейскую традицию, органически сплетены лирика и эпика. Фольклорные источники этого жанра были хорошо знакомы Ремизову, чье первое опубликованное произведение — лирический «Плач девушки перед замужеством».³⁴ С продолжением развития этого жанра в древнерусской литературе он неоднократно встречался, изучая памятники эпохи Смуты. Как известно, в это время плачи получили особое распространение, представая, по замечанию В. П. Адриановой-Перетц, как «своеобразная форма выражения лирических настроений, связанных именно с историческими событиями»,³⁵ со скорбью о судьбе России. В эпоху Смуты нередки плачи о судьбах города, государства, народа. Такой «плач» создает и Ремизов, даже в стиле и ритме воскрешая риторические формы древнерусских произведений. Таково, например, использование им ряда анафор: «Что же спасет русскую землю, вырванную, выжженную, выбитую, вытравленную и опустошенную? Кто уничтожит крамолу? Кто разорит неправду? Что утолит вражду?» (С. 146). Для сравнения с жанровым источником можно привести текст из «Плача о пленинении и разорении Московского государства»: «И кто не исполнится от христианъ плача и рыдания? кто не ужаснется, толикую скорбь и язву слышавъ о присной по духу братии своей? кто не накажется толикими бѣдами, не о имънияхъ своихъ скорбяще, но о разорении святыхъ церквей?» (II. Стб. 233).

Композиция «плача» Боброва повторяет обычную структуру древнерусских плачей о судьбе России. Сначала — лирическое вступление, рисующее идеальные картины давнего прошлого России, строительства городов, расцвета земель. Затем — описание эпохи Грозного, с которой началось разорение земли и постепенное изменение национального характера. Наконец, Бобров переходит, как и автор «Плача о пленинении и разорении», как и И. Тимофеев, к обличению настоящего. Перечисляя всевозможные случаи зверства, хамства и прочих «грехов», творимых самыми разными классами и политическими силами русского общества, герой Ремизова приходит к выводу о конечности, тупиковости пути России и безысходности

судьбы ее народа. «Представлялся ему русский народ затворенный, поглавым народом, который в конце веков, в конечные дни земли и света бросится с воем, кривляясь пьяный от воли из своего тысячелетнего плена на свободные народы и истребит все царства» (С. 149). Эти размышления героя являются скрытой цитатой из «Слова Мефодия Патарского». Перед наступлением последних времен — царства Антихриста грядет нашествие племен, «затворенных тартарохъ. Тогда отвръзутся врата, съвернаа, и изыдутъ силы языческія, яже бъху затворены вънѣтъяду, и подвижится въсъ земль от лица ихъ устрашут же ся человеци и побѣгнутъ» (I. С. 224).

Тема конечного Страшного суда, являющаяся центральной и в «Хождении Богородицы по мукам», и в «Слове Мефодия Патарского», трансформируется в произведении Ремизова в тему моральной правомерности суда человека над другим человеком и над целым народом. Герой утверждает: «Подлое общество, подлый народ! Для кого же дорога Россия, кто ей верен, кто о ней печется, кто держит свою клятву служить ей неизменно — непреложно — неотъятъно — нет, „я не русский! — отскакивал от зеркала Бобров, — я русский, я немец, все русские предатели и воры!“ — и стоял сам для себя один — откатный камень — один с поднятым кулаком перед всем народом» (С. 150). Слова речи героя, выделенные разрядкой — это переложение слов Ивана Грозного, записанных английским послом Флетчером, резко порицавшим русского царя за отделенность от своего народа и его тираническое подавление: «Иван Васильевич, отец теперешнего Царя, часто гордился, что предки его не Русские, как бы гнушаясь своим происхождением от Русской крови. Это видно из слов его, сказанных одному Англичанину, именно его золотых дел мастеру. Отдавая слитки, для приготовления посуды, Царь велел ему хорошенько смотреть за весом. „Русские мои все воры“ (сказал он). Мастер, слыша это, взглянул на Царя и улыбнулся. Тогда Царь, человек весьма проницательного ума, приказал объявить ему, чему он смеется. „Если Ваше Величество простите меня (отвечал золотых дел мастер), то я вам объявлю. Ваше Величество изволили сказать, что Русские все воры, а между тем забыли, что вы сами Русской“. „Я так и думал (отвечал Царь), но ты ошибся: я не Русской, предки мои Германцы“».³⁶ Примечательно, что первая попытка научной публикации сочинения Флетчера в России относилась к 1848 г.³⁷ и закончилась изъятием и запрещением книги и ссылкой секретаря «Императорского Общества истории и древностей российских» О. М. Бодянского. Новая публикация была осуществлена только в 1905 г., когда революционные события вновь сделали актуальным внутренний антитиранический пафос книги Флетчера. Ремизов, вводя эту работу в подтекст своей повести, еще раз подчеркивал ее социальную значимость. И в то же время представление героя о себе, как о Высшем судии над другими людьми, отделение себя от народа является, в представлении автора, истоком морального краха Боброва.

Все сюжетное развитие повести подчинено раскрытию становя-

щечься все более многозначной темы Страшного суда. Анекдотические, страшные и фантастические эпизоды из жизни студенецких обывателей — это явления, предвещающие «последние времена». И здесь Ремизов также обращается к традиции древнерусской литературы. Ожидание матросом Кочновым кометы, нашествие на Студенец множества червей, наконец, «чудо» — рост ослиных ушей у студенецкого исправника — все это находит аналогии в средневековых описаниях «дивных явлений» перед какими-то глобальными потрясениями, в частности, в многочисленных «повестях и видениях» периода Смуты. Например, в «Повести о видениях в Нижнем Новгороде и Владимире» XVII в. некая жена прорицает, что перед грядущими бедами нападет на людей «множество поползущего гаду. — И пахнуть на мя рукавомъ своимъ, и аbie поползе по земли и по мне много жужелецъ и червей множество» (II. Стб. 241—242).

По мере движения сюжета к финалу начинает осуществляться Высший суд, но над тем, кто взял на себя право осудить весь свой народ. На уровне бытовой реальности первым фактическим поражением героя предстает его судебная ошибка — обвинение в поджоге избы невинного человека. Но более идеально значимым является его моральное поражение в споре с другим подсудимым — старцем Шапаевым, «лечащим блудом». Находясь в гостях у Рязановского, Ремизов увлекся патериковыми рассказами — жанром древнерусской литературы, повествующем о жизни «старцев» — монахов и отшельников. Ряд этих рассказов представляли собой дидактические повествования, в которых житейская, «мирская» мораль сталкивалась с иногда непривычной, но «истинно христианской» моралью. При этом зачастую «старец», представлявшийся мирянам «грешником», оказывался носителем подлинных заветов христианства. Ремизов заинтересовался этими беллетристически занимательными, иногда психологически парадоксальными произведениями и неоднократно пересказывал их для современного читателя (циклы «Бисер малый», «Свет невечерний» и др.). Образ старца Шапаева в повести «Пятая язва» генетически восходит к образу старца из патерикового рассказа, человека, подчас совершающего страшные грехи, но излагающего своими устами морально-неоспоримые истины. «Где человек, там и грех! — утверждает Шапаев, — (...) И тот, кого грех попутает, не преступник, а несчастный. (...) И не человеку судить несчастного, не человеку карать его: уже в несчастье своем несет грешник — несчастный свою кару — несчастье свое. И уж если повинен кто наказанию, то не тот, кто преступление совершил, а тот, кто осудил этого преступника, окаратель его. (...) Пресвятая Богородица наша по мукам ходила, (...) и оставила Богородица рай, Сама пошла в муку, к нам, (...) с непрощенными мучиться» (С. 182—183). Последний довод Шапаева, вновь возвращающий лейтмотивную тему «Хождения Богородицы по мукам», — это аппеляция не к логике, а к совести Боброва. Напомню, что в повести Ремизова, помимо мотивов древнерусской литературы, имеется значительный пласт мотивов, воспринятых

из произведений Достоевского и в особенности из романа «Преступление и наказание». Подобно Раскольникову, Бобров сочетает в своем сознании и горечь, сострадание и боль за народ и в то же время представление о своей исключительности, дающей ему право осуждения этого народа. Его полемика с Шапаевым на новом историческом витке воскрешает рассуждения «головного» человека, индивидуалиста Раскольникова: «Взять на себя вину, ну, а тот подлец будет на воле разгуливать, да еще смеяться! И это хорошо? Для кого? Для России? (...) И, конечно, люби ненавидящих нас! (...) А Россия раздавлена этой исконной своей смолчивостью, отупела и озверела от своей податливости. И это хорошо? Для кого? (...) А что если людям все позволить, (...) да так позволить, чтобы уж все было можно, хоть только на один единственный день?» (С. 184—185). Для Ремизова полигенетичность текста является основным художественным приемом для расширения идейно-философского содержания произведения. В нем мотив средневековой литературы: противостояние «гордого царя» и «праведника», — восходящий, в частности, к эпизоду из известного Ремизову переведенного древнерусского памятника «Александрия» (встреча Александра Македонского с индийскими мудрецами — «рахманами») перекликается с трансформацией этого же мотива в произведении автора нового времени (Достоевского). В результате спор Боброва и Шапаева осмысляется как вопрос о первостепенной значимости этического критерия при проверке на истинность любых социальных теорий, «экспериментов» над народом, одним из которых предстает некий обезличивающий всех «Закон» Боброва. Герой Ремизова обдумывает свою теорию «законности» — панацеи от всех бед русского народа, пребывая фактически отделенным от него. Не случайно постоянная метафора — определение Боброва, приобретающая символический характер, — «откатный камень».

Для Ремизова работа над повестью была процессом философско-нравственного осмысливания недавней революции, начавшейся как всплеск всего лучшего и светлого в стране, потерпевшей поражение и завершившейся мрачной и кровавой реакцией. Его герой так же, как революционеры, хочет изменить жизнь народа согласно своей теории. Бобров считает, что его моральное оправдание в том, что «он отдал всю свою жизнь на защиту закона — в защиту русского народа, который гибнет от беззаконства. Он творил дело души своей» (С. 184). Знаменательно, что в этот текст включена скрытая цитата из древнерусского источника — патерикового рассказа, послужившего источником для рассказа «Вошиное наслаждение» из цикла «Бисер малый». Ср. текст: «Был некто человек, нарицаемый праведен (...) Ушел он от мира (...) в пустынию и, творя дело души своей (...) жил». ³⁸ Введение этой цитаты подтверждает искреннюю преданность героя своей теории, но она оказывается несостоятельной, так как ее исполнитель — «деятель» — абстрагируется от объекта своего «действия».

Ремизов не идеализирует народ, намеренно, как и Горький, обратившись к художественному анализу тех его слоев, которые

были темными, полными предрассудков и древних традиций, — к анализу жизни русской провинции. Об огромном значении изображения этой среды, чья косность была одной из причин поражения революции, неоднократно писал Горький. В 1911 г. он обращался к П. Х. Максимову: «Вы говорите: „Не видал Окурова. У нас, на юге, таких городов нет“. Знаю, что Ваши Окуровы поживее наших, но больше таких, как наши, их свыше 800. (...) И заключены в них великие миллионы русских людей». ³⁹ А в его письме 1913 г. к А. Н. Тимофееву прозвучало двустишие: «Страшнее бездны звездной — город маленький уездный, // Что разлегся бесполезно над обрывом у реки». ⁴⁰ Но оба писателя претворяют в своем творчестве разные аспекты темы: русская провинция и революция. Для Горького главным является раскрытие в народном характере исконного, хотя и придавленного тяжелыми обстоятельствами исторического развития России, волевого, действенного начала. Революционеры — люди, которые не только сами несут в себе огонь революционного действия, но и пробуждают народ к борьбе за свое освобождение. У Горького социальная прогрессивность действия тесно взаимосвязана с его этической оправданностью. Для Ремизова же — писателя более противоречивого миросозерцания — проблемы этические главенствуют над проблемами социальными. Вся повесть «Пятая язва» пронизана ощущением каких-то новых, грядущих перемен. Обращение писателя к кругу эсхатологических памятников древней литературы — это художественная реализация его предчувствия конца старого периода русской истории. Каков будет новый ее этап — ему неясно. Но Ремизова волнует вопрос, чтобы люди, творящие историю, «вожди жизни», не абстрагировались от реального, во всех своих темных сторонах, народа, во имя которого они хотят свершать свои преобразования.

Финал повести Ремизова — смерть героя от сердечного приступа — это одновременно его нравственное прозрение. Надо отметить, что к концу повествования частотность скрытых цитат из древнерусских памятников и в особенности из «Хождения Богородицы по мукам» возрастает. Для писателя христианская идеология составляет неотъемлемую часть народного миросозерцания. Богородица предстает как воплощение и высшей, и человеческой совестi. Ремизов неоднократно обращался в своих произведениях к художественной идее, которую он считал центральной в этом апокрифе: «Честнейшая, не пожелавшая в раю быть... ⁴¹ не Она ли, пречистая, пожелавшая вольно мучиться с грешными, великая совесть мира, Мать Света». ⁴² Путь к единению с народом лежит через милосердие к нему, сопереживание его страданиям. Герой понимает, что идея его ложна, а так как она была «делом его души», то за внутренним, сначала неосознанным отречением героя от своей идеи, неизбежно следует его смерть. Ее предвестие — вещий сон Боброва. Ремизов двойным художественным приемом показывает, что это видение — предвестие смерти. Герою снится девка с ножницами — символ парки, перерезающей нить жизни. И одновременно писатель вводит скрытую цитату из «Слова о полку Игореве» — о сне Святослава,

предрекающем его смерть. ⁴³ «Мутен, горек сон приснился Боброву» (С. 187). Ср. в «Слове»: «А Святъславъ мутен сонъ видѣ в Киевѣ на горах». ⁴⁴

Важная роль в композиции повести принадлежит мотиву иконы «Величит душа моя Господа». Она находится в доме родителей Боброва, вновь упоминается, когда герой обдумывает свою беседу со старцем Шапаевым, наконец, возникает в его предсмертном бреду. Это еще один емкий символ, конструктивно скрепляющий художественную структуру произведения. Его смысл также восходит к представлениям древнерусской культуры. Название иконы — цитата из евангельского чтения (Лук., 1, 45) из «Канона молебного к пресвятой Богородице», который весь является обращенной к Богоматери молитвой о помиловании. Изображение Богоматери на иконе сочетается с изображением Страшного суда. ⁴⁵ Эти две темы: Суда и милосердия, полное соединение которых предстает в последней сцене повести — смертном видении Боброва, составляют идейный лейтмотив повести. Герою чудится некий Суд, признающий его виновным за единственную в его жизни профессиональную ошибку. Повествование, ведущееся как внутренний монолог героя, становится диалогичным. Это как бы разговор разных голосов в душе Боброва. Один — голос «законника» — не приемлет логически не оправданного наказания, другой — голос совести — признает его высшую справедливость. Герой осужден, он сходит в «мұку», но в этом для Ремизова заключено высшее прощение Боброва, его слияние, хотя бы лишь в момент смерти, с единой душой народа. Сразу же после изображения смерти героя следует лирическое описание бескрайних просторов России, олицетворяющих безмерный в своих страстиах, страданиях и порывах русский народ: «Широкий и гулкий, наш разбойный ветер, ветровы песни ⁴⁶ томились... сердце томилось, море томилось... там море — море-ль мятется, там знои горючи — земля изсыхает, не дождят небеса, увядают ли травы, там мука — плач ли безмерный, стенания, крик непрестанный, там страсть неутолима, гроза, пагуба нескончаема, вопль неутешим? — ветровы песни томились, ветер разбойный гулкий широко гулял» (С. 201). Завершение произведения лирической картиной природы, приобретающей символическое значение, — черта, характерная для прозы начала XX в. При этом очень часто введение пейзажа в финал трагического повествования вносит в него оптимистическую ноту. Ту же функцию выполняет символический пейзаж и в повести Ремизова. Неисчерпаема, неизмерена душа народа, поэтому лишена завершенности, конечности и его судьбы.

Повесть «Пятая язва» сразу же привлекла к себе внимание критики. Большинство рецензентов самых разных направлений восприняли ее как обобщающее произведение о России, сопоставимое с повестями Горького и Бунина. Для доказательства приведу только два отзыва критиков противоположных лагерей. Публицист демократического направления В. Львов-Рогачевский отмечал: «Перед вами — новый „городок Окуров“ или Студенец, а в нем — новый Кожемякин — следователь Бобров, летописец Студенца и всей

России. Только летопись Кожемякина была написана слезами любви, а „временник“ Боброва написан желчью ненависти.⁴⁷ А нововременский автор А. Бурнакин, написавший не рецензию, а злобный памфлет на Ремизова и его произведение, бичевал «Пятую язву» как «повесть, в которой обличается провинция, [...] оплевывается Россия [...]». Было это, было. Сначала „Мелкий бес“, потом „Городок Окуров“, потом „Деревня“.⁴⁸ Вычленив главную тему пролетности, критики в основном не поняли его художественной ценности, глубокой взаимосвязи между судьбой города Студенца (символа России) и трагедией главного героя. Образ Боброва истолковывался по-разному: как символ интеллигентии, «разочаровавшейся» в революции (В. Бояновский),⁴⁹ или как воплощение «всей оппозиции русской» (С. Любаш),⁵⁰ или как тип идеалиста, потерпевшего крах при столкновении с действительностью (В. Головиков).⁵¹ При этом многие критики сочли сюжет о Боброве одним (подчас даже излишним) эпизодом из серии историй о жизни студенецких обывателей. Причиной непонимания было то, что большинство рецензентов прикладывали к повести мерки старой реалистической литературы, не учитывали специфику художественного метода писателя. Отмечалась близость ремизовской манеры к традициям Гоголя, Достоевского, но зачастую это расценивалось как подражательность: «Это странная, необычная повесть — дикая смесь Достоевского с Гоголем» (Л. Мович);⁵² Ремизова «хоть кипятком, хоть холодной водой, а он знай свое: хочу быть Гоголем, да и баста» (А. Бурнакин).⁵³ Более тонкие критики (например, Е. Колтоновская)⁵⁴ расценивали эту преемственность как типологическое сходство писательской индивидуальности. Однако почти никто не отметил существенных для понимания повести традиций древнерусской литературы. Единственными, кто указал на них, были два критика, хорошо знавших увлечение Ремизова древней книжностью, — А. Измайлов и П. Щеголев. В своей рецензии Измайлов подчеркнул наличие в повести плана древнерусской литературы, но увидел ее воздействие только на язык произведения. Он писал, что Ремизов «любит книгу и написанное слово не только в содержании их, во внутреннем существовании, а даже во внешности. Любит эти дубовые дщицы, восковые застывшие капли, киноварную букву, начинающую сказание, полууставный завиток рукописи. [...] По этой черте почти совсем одиноко стоит фигура его среди собратьев [...]». Тихонько прячется он в своем уголке, сидит за древней книгой, пересыпая ее прекрасные самоцветные слова».⁵⁵ Щеголев же проследил влияние древнерусской литературы на формирование не только языка, но и художественной структуры повести. Он отмечал, что «дело, в конце концов, не в Студенце и не в Боброве. Разорение русской земли — вот истинная тема А. Ремизова, и самой повести его пристало бы название „Плача о погибели русского народа“. Сам А. Ремизов очень напоминает тех старцев и книжников, которые в старину в одиночестве своих келий описывали разорение родной земли и обращали свой „Плач о погибели“ к своим соотечественникам».⁵⁶ И наконец, наиболее близка к раскрытию подлинного

авторского замысла рецензия Р. Иванова-Разумника. Как упоминалось, в процессе работы над повестью Ремизов находился в постоянном контакте с критиком, рассказывал ему о складывании идейно-художественной концепции произведения. Возможно, именно поэтому Иванов-Разумник внимательно проследил в своей рецензии развитие мотива Суда и особо остановился на проблеме трагической отделенности героя от своего народа. Он — единственный из критиков — осмыслил катарсис, возникающий в finale повести: «Так всегда совершается трагедия — рост души человеческой; от формальной правды, от идеи законности следователь Бобров должен перейти, перестрадав, к высшей человеческой правде, к любви человеческой. [...] Он умер, победителем над самим собою; [...] умер, став человеком и приняв страдания человеческие».⁵⁷

В повести «Пятая язва» Ремизов органично соединил, творчески переплавив в единое целое, трагический парадоксализм Достоевского, горькую сатиру Гоголя, эсхатологический оптимизм известных и безымянных древнерусских книжников и создал оригинальное, хотя во многом и непривычное для современного читателя произведение. По сути эта повесть продолжает типологический ряд произведений демократической литературы, посвященных решению вопроса «что делать». Ремизов превратил «действие» Боброва (его службу Закону) в художественный символ, концентрирующий в себе многие черты идейных концепций русской мысли XIX в., связанных с осознанием интеллигенцией своей исторической миссии. В нем слышны отзвуки либеральных надежд на социальное улучшение жизни народа путем государственных реформ и отголоски воззрений позднего народничества — теории «малых дел». Одновременно писатель оценивает и путь революционного крыла интеллигенции, итог деятельности которого он видел в революции 1905 г. По Ремизову, трагизм заключен в том, что интеллигенция, лучшая часть которой всегда служила народу, до настоящего времени не знает его, абсолютизирует его хорошие, а затем (особенно после поражения революции) его дурные черты. Но как бы герой повести не отрекался от народа, его «сочинение» — это не рассудочный «кобвинительный акт», а созданный кровью сердца «плач» о народной судьбе. Перестав идеализировать народ, Бобров ужаснулся, увидев его истинное лицо. Сам Ремизов, отрицая любые попытки приукрашивания народа, утверждает необходимость понимания его истинного лица.

В 1908 г. Горький писал К. П. Пятницкому о насущной задаче литературы — необходимости познания народа как исторической реальности: «Я верю, что теперь мы снова начнем более или менее серьезно „изучать русскую жизнь“, „изображать мужичка“ и, вероятно, снова будем приукрашивать его, льстить ему. Ведь необходимо же, чтоб он помог сделать революцию, поднял настроение „культурных людей“. И я очень боюсь, что вместо действительно серьезного и глубокого изучения народа, его жизни, его духа, начнется, как это уже бывало, игра в самоутешение или самогипноз, начнется пропаганда любезных политических идей. Ценность

таковой я, конечно, не отрицаю, но изучение объективное — предпочтую».⁵⁸ Повесть Ремизова и была одним из таких объективных исследований народного характера. Ее значение как произведения о судьбе России проницательно отметил Андрей Белый в письме к Ремизову 1913 г. (критик неточно обозначил ее название):⁵⁹ «Книгу Вашу прочел, не прочел, а проглотил. „Пятую Казнь“ еще никогда не читал. Она меня глубоко потрясла. Как открыл, так и не мог оторваться. Это — что-то колоссальное, чем гордиться может и наше десятилетие литературы. „Вехи“ русской литературы, которые потом будут критикой превращены в шоссейные дороги среди пустыней, обозначаются для меня редко, редко подобные произведения. (...) можно сказать, что „Пятая Казнь“ есть то, чем будет гордиться период 1910—1913 года. За этот период времени ничто меня не потрясло так, как „Пятая Казнь“, разве только когда-то „Куликово Поле“.⁶⁰ „Куликово Поле“ и „Пятая Казнь“ произведения венчие».⁶¹

В повести «Пятая язва» Ремизов задавал те же сущностные вопросы русского бытия, над которыми в это время мучились М. Горький и А. Блок, И. Бунин и Л. Андреев. Каково будущее России? Какая нравственная основа заложена в разных социальных теориях изменения общества? Какие стороны национального характера русского народа еще проявятся в чаепом грядущем, какие останутся неизменными? Каковы судьбы интеллигентии? Многие из этих вопросов для Ремизова так и остались нерешенными. Но один ответ был найден: каждый, кем бы он ни был, не должен отделять своей судьбы от судьбы своего народа. Повесть «Пятая язва» по праву вошла в круг произведений, наиболее глубоко затронувших ряд важнейших проблем русской действительности периода между двух революций.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Горьковские чтения. 1953—1957. М., 1959. С. 18.

² Там же. С. 19.

³ Альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1912. Кн. 18. С. 109—201. Далее текст повести А. М. Ремизова «Пятая язва» цитируется по этому изданию с указанием страниц.

⁴ Ремизов А. Россия в письмах // Раннее утро. 1918. № 95, 26 мая. С. 1.

⁵ Ремизов А. М. Подстриженными глазами. Paris, 1951. С. 132.

⁶ В издание 1912 г. кроме цикла «Лимонарь» (*λειμονάριον* (греч.) — луг дуиховый) вошел цикл «Паралипоменон» (*παραλειπόμενον* (греч.) — дополнение).

⁷ Ремизов А. М. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1912. Т. 6. Сказки; Т. 7. Отреченные повести.

⁸ Письмо от 29 февраля 1912 г. ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 239.

⁹ Имеются в виду 6 и 7 тт. Собр. соч.

¹⁰ ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 208. ИРЛИ, ф. 627, оп. 4, ед. хр. 1572, л. 145 об. — 146.

¹¹ ГЛМ, ф. 19 ОФ 3463 1—28.

¹² ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 115, л. 35 об.

¹³ Там же, л. 36.

¹⁴ Лит. наследство. Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 108.

¹⁵ Там же, С. 109.

¹⁶ «Значение изустного слова Рязановского в возрождении „русской про-

зы“ можно сравнить только с „наукой“ самого из всех „знающего“ громокипящего Вячеслава Ивановича Иванова в возрождении „поэзии“ у стихотворцев. (...) Рязановский наперекор Брюсову с его „парижской“ культурой, Кузмину с его элегантной „прекрасной ясностью“ и Сологубу с его шикарным „провинциализмом“, наперекор всей этой чванливой и смехотворной компании (...) годами только о русском и рассказывал (повторяю, писать он не мог), расценивая слова на слух, на глаз и носом и восхищаясь своими русскими книгами от Киево-Печерского патерика до Новикова. (Ремизов А. М. Подстриженными глазами. С. 154).

¹⁸ ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 31, л. 29. Иоанн блудоборец, дебренский старец — прозвища Рязановского в кругу друзей-литераторов. На основе рукописного «Лицевого Подлинника» XIX в. из собрания Рязановского (ныне он хранится: ГМЛ, ф. 19 ОФ 3495) Ремизов написал цикл миниатюр «Бисер малый. От словес Дебренского старца» (опубл.: «Заветы». 1912, № 8. С. 42—60). Об этом произведении Ремизова см.: Грачева А. М. Структура патерикового рассказа и ее отражение в сборнике А. Ремизова «Бисер малый» // Материалы республиканской конференции СНО 1977. Вып. 3. Тарту, 1977. С. 66—77.

¹⁹ Там же, л. 31.

²⁰ Ремизов прибыл в Кострому 8 августа 1912 г. См. телеграмму Рязановскому от 7 августа: «Приеду завтра Ремизов» (ГЛМ, ф. 19 ОФ 3463 1—3).

²¹ Лит. наследство. Александр Блок: Т. 92, кн. 2. С. 110. СПб., М., 1882. Т. IV. С. 347.

²² Ремизов А. М. Подстриженными глазами. С. 155.

²³ За 7 дней. 1912. № 49. С. 2163—2164.

²⁴ Биржевые ведомости. 1909. 16 июня, веч. вып. № 11160.

²⁵ Данный список источников также не является окончательным и может быть уточнен в ходе дальнейших исследований повести. Далее ссылки на эти издания даны в тексте с указанием порядкового номера в списке и страницы. Подача цитируемых текстов скорректирована с современными правилами публикации древнерусских памятников.

²⁶ Резникова Н. В. Огненная память. Berkley, 1980. С. 51.

²⁷ Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. II изд. СПб.; М., 1882. Т. IV. С. 347.

²⁸ Смирнский В. В. Алексей Ремизов. Воспоминания. ГПБ, ф. 1049, ед. хр. 3, л. 6.

²⁹ Еще в 1905 г. Ремизов изучал книгу Н. Бокадорова «Хождение Богородицы по мукам. (Опыт истории христианской легенды)». Киев, 1904. (См.: Лит. наследство. Т. 92, кн. 2. С. 82).

³⁰ Пример подобной трактовки времени Смуты см. в кн.: Фонвизин С. В смутные дни. Роман. СПб., 1911.

³¹ Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1904. С. 257.

³² Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888. С. 168.

³³ Полемика Ремизова с Горьким впервые отмечена С. В. Кастрским в ст.: Из истории одной идеино-творческой литературной полемики // Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 262—265. Однако эта полемика в статье С. В. Кастрского представлена в огрубленном и упрощенном виде.

³⁴ Курьер. 1902. 8 сент.

³⁵ Абрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947. С. 153.

³⁶ Флетчер Д. О государстве русском. СПб., 1905. С. 19.

³⁷ Чтения в Обществе истории и древностей. 1848. Кн. 23.

³⁸ Заветы. 1912. № 8. С. 53—54.

³⁹ Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 175.

⁴⁰ Горьковские чтения. С. 42.

⁴¹ Возможно, что этот мотив схождения «праведника» во «тьму», чтобы добровольно мучиться с грехами, является одним из литературных источников рассказа Л. Андреева «Тьма».

⁴² Ремизов А. М. Трава-мурава. Берлин, 1922. С. 47.

⁴³ Это совпадает с современной трактовкой этого мотива. См.: Демко-ва Н. С. К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве» // Вестник ЛГУ. 1973. № 14. Вып. 3. С. 73.

⁴⁴ Слово о полку Игореве (Серия «Русская классная библиотека», вып. 1). СПб., 1907. 6-е изд. С. 8.

⁴⁵ Детальное описание иконы см.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. XVI—начало XVIII века. М., 1963. Т. 2. С. 481.

⁴⁶ См. лексическую и семантическую перекличку мотивов лирического описания Ремизова и цикла Блока «На поле

Куликовом». Например, ср.: «Россия, нищая Россия, // Мне избы серые твои, // Твои мне песни ветровые — // Как слезы первые любви!» (Россия. 1908).

⁴⁷ Современный мир. 1912. № 11. С. 362.

⁴⁸ Новое время. 1912. № 13212, 21 дек. С. 5.

⁴⁹ Биржевые ведомости. 1913. № 13341, 11 янв., веч. вып. С. 5.

⁵⁰ Современное слово. 1912. № 1728, 28 окт. С. 2—3.

⁵¹ Вестник знания. 1913. № 2. С. 235.

⁵² За 7 дней. 1912. № 49. С. 2164.

⁵³ Новое время. 1912. № 13212, 21 дек. С. 5.

⁵⁴ Новый журнал для всех. 1912. № 12. С. 100.

⁵⁵ Русское слово. 1912. № 260, 10 ноября. С. 5.

⁵⁶ День. 1912. № 26, 27 окт. С. 6.

⁵⁷ Заветы. 1912. № 8, отд. II. С. 48.

⁵⁸ Архив А. М. Горького. М., 1954. Т. 4. С. 255.

⁵⁹ Возможно, что Андрей Белый сделал это сознательно, раскрыв таким своеобразным способом свое понимание содержания повести.

⁶⁰ Цикл стихотворений А. Блока «На поле Куликовом».

⁶¹ ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 57, л. 32—32 об. (копия).

С. Ю. Ясенский

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

(Публицистика 1917—1919 гг.)

Публицистические выступления Леонида Андреева последних лет его жизни — четырнадцать статей 1917 г. в газете «Русская Воля» и две статьи 1918—1919 гг., опубликованные в заграничных сборниках, — увенчивают собой большую и сложную тему, лейтмотивом проходившую через всю жизнь и творчество писателя: «Андреев и русская революция». Тема эта несомненно заслуживает отдельного и специального исследования. Мы ограничимся сейчас постановкой проблемы и цель настоящего сообщения видим в том, чтобы познакомить читателя с фактическим материалом, свидетельствующим о позиции Андреева в критическую пору жизни России. Но прежде чем приступить к этой задаче, необходимо сделать несколько кратких замечаний об общественно-политических взглядах Андреева.

Позиция Леонида Андреева в вопросе о русской революции при всей ее подвижности отличалась, как нам представляется, своеобразной внутренней последовательностью, позволяющей говорить о некоем комплексе взглядов писателя, в котором можно выделить определенные константы. Это положение, конечно, не снимает вопроса о развитии взглядов Андреева, однако позволяет подчеркнуть их самые существенные, определяющие моменты. Сам писатель наиболее откровенно формулировал свою общественную позицию до Февраля в годы первой революции. Прежде всего Андреев всегда симпатизировал русской революции как общенародному демократическому движению за новую Россию и шире — как борьбе за новое европейское и мировое устройство. Эта позиция позднее корректировалась. В годы реакции наблюдалось усиление пессимистических настроений. Годы первой мировой войны были отмечены ростом патриотических тенденций. Но в главных своих пунктах позиция оставалась неизменной: кардинальных переломов писатель не переживал. Свержение царизма представлялось Андрееву единственным выходом из тупика, в котором находилась страна. В июле 1904 г. он писал В. В. Вересаеву: «Меня очень трогает, очень волнует, очень